

## Секретов не имел

Он очень болезненно переживал не терпящий возражений ярлык «деревенщик». Страшно возмущался, когда его так называли, — «будто загнали в загон, мол, не высывайся. В деревне — 80% населения раньше жило, ну сейчас поменьше, а все 100% — отсюда, так ведь это все не деревня, а народ. Какие же мы деревенщики, мы — народные писатели», — переживал Шукшин.

И все же случилось это еще при жизни Василия Макаровича. Набухшая почка лопнула, и в один миг по весне еще одно могучее дерево на земле зазеленело молодой сочной листвой. Но Шукшин так до конца об этом и не узнал, о том волнении, которое внес в народ своими произведениями. «Калина красная» — сначала повесть, а потом и фильм стали тем событием в духовной жизни народа, которое вдруг заставляет оглянуться и многое пересмотреть заново. А впереди был фильм о Степане Разине — давно уж выношенная, в муках и слезах рожденная песня о воле...

Как-то Шукшин спросил меня: «А ты знаешь, что будешь знаменитым?» «Нет». — «А я знал...» Вот эта черта его характера — он точно представлял, кем хочет быть, что сделать, — оставила впечатление о нем, как о человеке очень цельном, сильном. Как ни громко это звучит, но, по моему твердому убеждению, Шукшин был рожден духовником. Быть может, оттого так полемично его творчество, так пронизано полемикой потаенной, пересматривающей все обыденное, привычное. Он перемалывал то представление о жизни, которое существовало у многих. «В каждом человеке, свалившем камни в Енисей, я вижу героя. А вы его отрицаете! — писал Шукшин в ответ на статью «Бой за доброту». — ...Вы требуете каких-то сногшибательных подвигов (они — каждый день, но не в атаке: атак нет!».

Если попытаться как-то обозначить явление Шукшина, то для себя я предпочел бы такое неуклюжее, как авторское творчество. Снимался ли Шукшин как актер, режиссировал ли фильм, писал ли рассказ или сценарий, он при всей разности этих занятий оставался Шукшиным. В каждом созданном им произведении, будь то написанная строка или сыгранный образ, обнаруживаешь черты его характера, его биографии. Шукшин секретов не имел. Садился и писал страничку, тут же читал — так без помарок потом и печаталось. И всегда получалось, что это произошло здесь, сейчас, где он сидел и писал. «До третьих петухов» писались на моих глазах, для меня, с учетом моих пожеланий и советов — вот что самое невероятное...

Шукшин спрашивал:  
— Куда идет Иван?  
— Вот туда, — отвечаю. — Здесь Змея Горыныча надо бы вставить...  
— Ну, а как его играть будут?  
— Три актера играют три головы.  
— А как они войдут?  
— В окна три головы просунут.  
— Вот и хорошо...

Но там есть и другое, что для меня остается тайной... Там есть он со своим стыдом, с тем, как он казнит себя, мучается, будто признается в чем-то очень постыдном. Как мучается Иван-дурак, который пришел к Мудрецу просить справку, что он не дурак.

В войну у нас в Перми на базаре появились народные певцы: солдаты возвращались с фронтов — раненые, слепые, без ног. Возвращались покалеченные, с трофейными аккордеонами, губными гармошками, ходили по базару, пели — судьбу сказывали. Жаль, быть может, что не сохранились, не зафиксировано это — память отголоски лишь сберегла. И песни — это не что иное, как искусство, только народное искусство. Социальность и нравственность в них несколько иные. Война разнолика, и горе было не на одно лицо, народ его зафиксировал, переложил в песни. Сейчас их нет, и жалко, что мало кто сохранил в памяти.

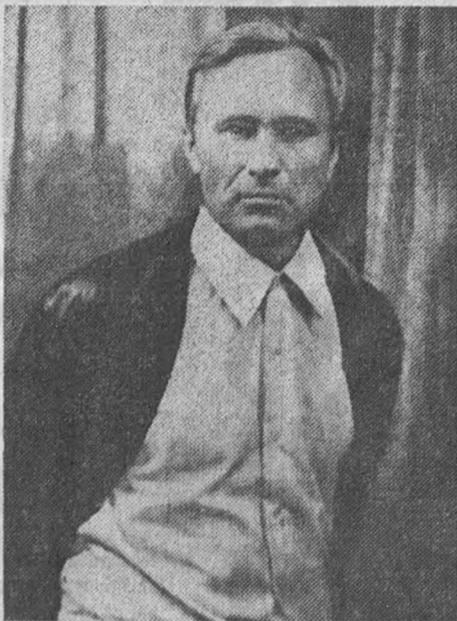
Вспомнилось: ведь и шукшинские рассказы — вся его проза — очень близки по духу к тем военным-послевоенным самодельным песням — в них через духовное раскрывалось гражданское, через нравственное — социальное. Они похожи даже по своему строению, как похожи на них старые русские народные драмы, сказки, сказания. Нет завязки, экспозиции — сразу события начинаются. С ходу. Шукшин не мог елозить, ему не терпелось: «И пришла весна — добрая и bestоложвая, — так недозрелая девка». Проза Шукшина начинается как бы с середины — одна фраза, и мы уже оказываемся среди героев.

Скажем, любятейший герой из «Штрихов к портрету». Живет в райцентре, написал трактат «О государстве» — семь или восемь тетрадок исписал, все над ним потешаются, издеваются, а он свое гнет. Когда дело до милиции дошло, то начальник — един-

*Когда умер Василий Шукшин, вдруг покотился шквал «воспоминаний», «размышлений», «бесед»... Соблазн хотя бы на надгробную плиту возложить непременно свои цветы, внести свою лепту охватил очень многих...*

*Каждому, кому выпала в жизни удача видаться с Шукшиным, состоять с ним хотя бы в мимолетном знакомстве, хотелось высказаться, поведать об этом миру, нарисовать портрет «своего» Шукшина. На мой взгляд, не все были объективны...*

*От этого я постарался отойти, потому что для меня Шукшин — явление, не уместяющееся в привычные «межуарные» рамки. Для меня он воспринимается больше в будущем, духовном будущем...*



# Живой Шукшин

ственный, кто поинтересовался, что в этих тетрадках написано, — открыл одну и прочитал: «Я родился в бедной крестьянской семье, девятым по счету... я с грустью и удивлением стал спрашивать себя: «А что было бы, если бы мы как муравьи несли максимум государству!» Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание». Прочитал миллионер эти слова, подумал и взял с собой тетради домой — познакомиться. Выходит, не зряшным делом мыкался гражданин Князев, страдал, терпел унижение. В отчаянии крикнул, когда по улице вели: «Глядите, все глядите, Спинозу ведут. Вот и выходит, что вроде — шут гороховый, а на самом деле — философ, и трактат о государстве — не выдумка, а стоящее дело. Ведь только вдуматься: «Если бы каждый на своем месте...» Слова-то простые, живые, и мысль глубокая, народная мудрость рожденная.

Стремление через обыденное раскрыть философию жизни — качество всей нашей русской литературы. Задумал, скажем, Гоголь написать «Записки сумасшедшего музыканта», а пришел к чиновнику, к «Запискам сумасшедшего». Потому что в одном случае — это только музыкант, интеллигент, а во втором — мелкий чиновник, и такие страсти живут в этом человеке, так что это уже революционное событие, уже — «король Испании». Шукшин пришел в литературу с пониманием, что значит маленький человек. Рассказ «Кляуза» — продвижение как раз по этой линии, крик души — в мелочи подметил явление. Потом возмущались, протесты писали. А старушка эта, которая раньше по полтиннику брала, сейчас, быть может, уже по рублю берет — она стала популярной, знаменитой: «Вон, идите к шукшинской старушке — она пропустит». Это действительно рассказ. Не приукрашенный, не «эстетизированный», а талантливый рассказ — на чистоту, как есть, так все и сказано.

Шукшин отчетливо сознавал, куда он идет, что делает, но какая-то загаенная неуверенность не давала ему покоя, не хватало ему слова заветного. Быть может, его-то он ждал от Шолохова? Эта мысль постоянно будоражит, возвращает и возвращает к той встрече, которая состоялась в Вешенской, во время съездов «Они сражались за Родину». Вспоминаешь тот день, то волнение, которое мы испытывали перед встречей с Михаилом Александровичем. У Шукшина оно было особенным — очень переживал и, если говорить честно, надеялся на отдельную встречу, готовился к ней. Все думалось: вот-вот сейчас придет, позовут... ждал, что Шолохов проявит инициативу... Но этого как-то не случилось. Шукшин корил себя за то, что признался мне в этом. Нервничал, что открылся, слабость проявил, злился на себя. Его надо было понять. Он как бы хотел что-то вроде благословения, чтобы Шолохов какое-то слово заветное ему сказал с глаза на глаз...

## Мечта о Степане

Когда Шукшин делал в литературе свои первые шаги, ему безоговорочно поверили — уж слишком он все заземлил, забытовал и через это протациял...

По первому снегу глянули и пристроили в загончик «деревенщиков», потом вступенулись, посмотрели, а там целина, под снегом-то. Пахать ее еще да пахать, потому как Шукшин — философ народный от макушки до корней. Вроде читаешь — смешно, раз, другой прочтешь, глядь — заковырка, правду сказал. Слово важное, и тут же ирония, усмешка — вроде как дело шутейное, пустяк А Шукшин кожу снимает, шелуху разную, чтобы до истины докопаться. Он как-то очень точно ноту взял. Ведь существует изобилие литературы, но очень не просто писателю постигнуть нравственное, социальное течение жизни, по-русски выговорить, решать мировые проблемы, через глубоко национальное выйти на интернациональное.

Сколь одержим был Шукшин в творчестве, столь же неправдоподобно беззащитен в жизни — перед ней робел, стеснялся. Но когда режиссировал, то это святое было — здесь его поле деятельности, тут он законодатель. При всей его мягкости — был вежлив с актерами, со всей съёмочной группой — Шукшин становился непреклонен в творчестве. Требовал знать текст буква в букву. Для него было важно и нужно снять точно. Даже если ошибался в выборе актера, особенно в начале работы, старался как-то незаметно отвести беду так, чтобы без ущерба делу и самому актеру, и все же не допустить чуждого вторжения. Прикрывал актера, отводил на второй план, гасил его. Уважал чужой труд, чужое творчество.

Шукшин, когда снимал, то шел от актера: что-то такое заметное возникало — он это либо тут же в дело пускал или же фиксировал, оставлял на будущее. В первой нашей совместной работе, в фильме «Печки-лавочки», мой герой был поначалу, в сценарии, таким приклатненным «жоржиком» — не очень-то интересным. Попробовали сделать по-другому — вроде получилось. Василий Макарович изменил сценарий. Для меня это этапная роль.

А другой раз, снимаясь в одном фильме, я релетировал сцену и вдруг заплакал. Шукшин увидел, потом и говорит: «Ты это особо не расходуи. Ну чего там... Ты побереги, на будущее пригодится». Но в этом он увидел не просто способность заплакать, а неограниченность эмоций. Отложилось это, начинает беречь, пестовать, и вот уже целый вечер мы говорим про Матвея Иванова, о том, как его подвести к этому...

Последнее время болел Степаном Разинным. Казалось, его разорвет от той могучей силы энергии души, таланта, которая скопилась и готова выплеснуться наружу, воплотиться в фильм. Был наполнен радостью, что не за горами суждено мечте сбыться.

Лида Федосеевна — жена Василия Макаровича — рассказывала: когда Шукшин заканчивал роман, то последнюю главу ночью писал. «Просыпаюсь, четьре утра. Слышу, где-то ребенок рыдает. Я на кухню, гляжу — плачет. Спрашиваю, что случилось? «Такого мужика загубили, сволочи». Любовь к Разину раздирала сердце. Как тонко ведет его Шукшин в романе, обходя все рифы, зверства, которые могли бы скомпрометировать Разина, и выводит на главное, центральное место. И тут впервые в романе звучит голос автора. Мучается Степан, не может выговорить, физическое ощущение удубли-

ности сковывает разум. И мужики не могут внятно осознать: «Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо напознала всеобщая беда. Что за сила такая могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять...» Тут-то Шукшин и вступает: «Та сила, которую мужики не могли осознать, назвать словом, называлась ГОСУДАРСТВО» — и выделяет, подчеркивает. Вот за это бессилие перед могуществом, недостижимое для Родины, для казаков, так любил их Шукшин. Государство и воля — вот две антитезы — смысл, суть романа...

Еще в одном из ранних рассказов своих Шукшин обращался к образу Разина — кузнец создает скульптуру Степана, и он у него со связанными руками. Долгий спор выходит — почему со связанными. Долго герой мучается и понимает — не бывать тому, чтобы вольный казак со связанными руками был. И сжигает скульптуру, как Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».

Шукшин долго мучился, обдумывая, как снимать казнь Разина, потом сказал: «Нет, я это снимать не буду. Этого я физически не переживу, умру». Потом он обдумывал другой конец. Страннику, который направляется в Соловки помолиться, Степан Разин наказывает: «По молись и за меня» — и дает серый мешок с чем-то тяжелым. Приходит странник в монастырь — вот, мол, пришел помолиться за себя и за Степана Тимофеевича Разина. И дар от него принес...

— Какой дар? Его самого уже в живых нет... Казнен...

— Долго же я шел, — удивился странник и достал из мешка дар, и поднял его над головой — огромный золотой поднос переливался, как солнце...

Потом Шукшин рассказывал о том, как будет снимать казаков, которые переправляются, стоя на лошадях, через Дон. Поднимается над водой пар, стелится над поверхностью, и вдруг появляется в дымке фигура одного, второго, третьего, и вот уже целое войско казаков будто по воде идет, по самой дымке. Неторопливо приближается... А потом туман начинает подниматься, и показывается над водой головы плывущих лошадей, а на них казаки стоят...

## Ранимая совесть

Одержимость Шукшина, его сопричастность к судьбам тех, о ком он рассказывал, покорила многих, вызвали споры, недоумение — уж больно все они негероически, какие-то кирзовые... Ведь одновременно с выходом Шукшина-прозаика как бы с другого берега появился другой герой — со стороны. Ведь если разобраться — что это такое. Я «со стороны» в Москве — из Перми: вот вы такие-сякие, толкаетесь, грубите, обвешиваете... Какой-нибудь москвич «со стороны» в Перми — тоже жалуетесь: жлобы, пьяницы... И приезжает такой человек «со стороны» в город, ну, скажем, в ту же Пермь; он инженер, ему надо дорогу к причалу проложить, а на пути кустарник. Он решает просто — вырубить. А тому кустарнику — двести лет, не одно поколение пермяков выросло, детство провело около него. А человеку что? Он со стороны: сделал свое дело — поехал в другой город, там «строить». А потом оказалось, что дорогу вовсе и не здесь надо было прокладывать — в обход кустарника. Вот и выходит, что «решать» просто, а жизнь жить — куда сложнее.

Мой отец был народным заседателем — к нему все шли за советом, не к судье, а именно к нему. Почему? Он сорок лет проработал на заводе — путь прошел от чернорабочего до главного механика, потому что как-то умел ладить с людьми, всех знал. И когда заседателем стал, то для него не было подсудимых — перед ним были люди, некоторых из них он знал с детства. Он знал, где тот споткнулся, — вот если бы не встретился там с Колькой, то ничего бы и не было. Он не решал в этой жизни, а жил. Социальность, гражданственность может быть формальной и человеческой, не «со стороны»...

Совсем незадолго до своей смерти Василий Макарович рассказывал мне, какой он придумал финал в пьесе «А поутру они проснулись». Идет суд — женщина-судья стыдит пьяниц, и в этот момент в зал входит пожилая женщина-мать. Судья спрашивает: «Вы кто?»

— Я — совесть.  
— Чья совесть? Их совесть? — Судья показывает на пьяниц.

— Почему их? И ваша тоже, — отвечает мать.

Какое-то пророческое слово — совесть. Наша совесть. Шукшин останется нашей совестью. Он не мог жить «со стороны», он сгорал в каждом созданном им образе, сердце было болевшее, ранимое. Оставил на земле «незримый, долгий след», заещал любить правду, выискивать и обретать ее. Шукшин весь в нашем духовном будущем.